

**Александр Добролюбов**  
*Владимира Гиппиуса*

Иль, Божьей рати лучший воин,  
Он был с безоблачным челом...  
Лермонтов

Лет двадцать тому назад — в 1893–1894 годах — два петербургских мальчика-гимназиста стали проповедовать повсюду, где изъявно могли, новую литературную веру, известную уже по имени Метерлинка и носившую самую пренебрежительную кличку "декадентство", ни в ком не вызывая серьезного к себе отношения. В начале 90-х годов произошло и у нас несколько литературных событий, которые указывали на перелом, сближавший нашу литературу с именем Метерлинка и некоторых других, еще вовсе не популярных, несмотря на появившиеся переводы Ибсена, Эдгара По, Бодлера. Мережковский читал публичные лекции в Соляном Городке, направленные против традиций господствовавшей тогда литературной критики Михайловского и Скабичевского — за новые движения — религиозные, и в этом новом настроении печатались тогда его собственные стихотворения, соединенные потом в сборнике "Символы" (1892), с эпиграфом из Гёте, что "все преходящее есть изъявно *символ*" из деяний о "проповедании неведомого Бога"; Минский — поэт гражданских "белых ночей" — отрекался в то время, в книге "При свете совести", от философских принципов утилитарно-позитивного типа и тоже печатал стихи в духе религиозного "неприятя мира". Никто не связывал еще тогда сознательно этих "новых людей" с Вл. Соловьевым, уже в 70-х годах заявившим о "кризисе философии" — "против позитивистов"; не связывали себя и сами Минский и Мережковский с еще более внушительным предтечей — Достоевским. В то же время начинался культ возродившегося Тютчева и "Вечерних огней" Фета и падал, если не в большой публике, то в определенных кружках, культ Надсона. Только что начали печататься пока еще бледные, но уже изящные — в манере Шелли — стихи и переводы из самого Шелли юного Бальмонта, несколько неожиданные по новизне стихотворения З. Н. Мережковской (Гиппиус) и чудесные "Тени" Сологуба; в Москве вышла тоненькая и смелая тетрабочка, изданная Брюсовым, "Русские символисты"... Это было все начало символизма, тогда еще называвшегося общим именем декадентства. Два мальчика, проповедовавшие это новое направление чуть ли не на улицах, были Александр Добролюбов и пишущий сейчас о нем.

Самостоятельны были их взгляды или не самостоятельны? Как они стали декадентами? Кто — первый из них? Я был очень близок с Добролюбовым в то время, я знал все колебания его настроений и вкусов, но не мог бы точно ответить на эти вопросы. Я расскажу то, что действительно помню и знаю, имея в виду Добролюбова — его личность, его душу, его значение, его дарование.

Когда я в первый раз увидел А. М. Добролюбова, он меня поразил так, как никто до этих пор. С детским легкомыслием я не задумался над этим впечатлением и отстранил его от своего сознания, но оно победило. Это было посреди учебного года, кажется, ближе к весне: я помню — в огромные окна нашего класса светил яркий солнечный день, когда Добролюбов, новичка, привели к нам в класс (он перешел из Варшавы, где отец его служил комиссаром по крестьянским делам). Моя скамейка была у окна, его посадили на задней — у противоположного конца. Класс был большой и многолюдный. Я видел издали, как новичок, смуглый и очень красивый, положил голову на руки, кулак на кулак, и покойно и молчаливо смотрел на всех. Меня поразили его глаза: необыкновенно глубокие, темные, прозрачные и покойные. Красота его была немного еврейская (его мать, наверное, еврейка); но было в его облике и русское — такое, какое бывает у деревенских священников или купцов — как у Чернышевского, а еще больше у Рыбникова. Меня поразили его глаза — и я именно это впечатление отстранил от себя. Я к нему не подошел знакомиться. Сам он ни от кого не отдалялся; в следующем году он был дружен с той частью класса, которую я не любил. И мои "друзья" смеялись над ним, как всегда смеются друг над другом мальчишки — надо всем вместе и ни над чем в особенности; хотя в Добролюбове слишком заметна была его "особенность", но ее только смутно чувствовали, не схватывая, не понимая; я тоже смеялся, а меня, моего голоса в классе, хотя "враги" высмеивали, в свою очередь, но и стеснялись; образовались как будто партии.

В середине года (в 6-м классе) Добролюбов стал издавать гимназический журнал "Листки" — очень бойкий и немного гражданского направления, печатавшийся красными гектографическими чернилами, — и ходил в это время с руками, выпачканными красной краской. Журнал всем очень нравился, особенно из-за живописного приложения к первому номеру, где в виде комического оркестра были представлены все учителя. Через "общих знакомых" Добролюбов предложил мне сотрудничество; по поводу моей рукописи он подошел ко мне переговорить. После этого мы уже не могли отойти друг от друга, разговаривая сначала все перемены. Потом, когда в один удивительно прозрачный зеркальный мартовский вечер, который я никогда не забуду, я пошел к нему, хотя он не приглашал меня и я стеснялся своей любви к нему, он меня встретил так же застенчиво, но так, что для нас обоих стало ясно, что я должен был к нему прийти, что он ждал именно того, что я сам к нему приду, — насмешки за глаза кончились навсегда, мы не расставались.

Преодолевая одну из своих особенностей — ходить в гости, он стал приходить ко мне так же часто, как я к нему. Он очень полюбил моего отца и мать, братьев, и они его тоже. Мы разговаривали, конечно, обо всем, по большей части гуляя по весенним петербургским улицам и за городом, большие всего о литературе, о наших вкусах, читали друг другу свои стихи и прозу. Он дал мне прочесть свою очень длинную драму, вроде тех, которые писались в 30-х годах, смесь жизни и философии, стихов и прозы, очень

неуклюжую и очень свежую (так жалко, что она потерялась!), мы ее вместе высмеивали. Читал свой рассказ; я теперь вспоминаю его, как нежный и поэтический — весь в дыхании белой ночи — рассказ о первой любви, где были изображены и наши гимназические товарищи, и я среди них — в роли Мефистофеля для героя — самого Добролюбова. И этот рассказ мы оба засмеяли. Мы оба много читали — "все знали" и обо всем судили резко и неопровержимо. Добролюбов читал и по-русски, и по-французски, меньше по-немецки, по-английски он выучился позднее; вкусы его были неясны, но в них была неопределенная еще для него самого широта, стремление оправдать все направления — и Пушкина, и Белинского, и Писарева, и Барбье, и Ламартина, и Виктора Гюго. Я был эстет и исповедовал, кажется, исключительно Фета и отчасти Тургенева с эстетической стороны, русскую критику 60-х годов презирал, хотя почти не знал ее, с французской литературой был почти не знаком; общего кумира Надсона мы отрицали оба. Я старался на Добролюбова повлиять; он в это время колебался. Тогда я этого не понимал. Теперь я понимаю, что первое, неотразимое на всю жизнь впечатление произвел на Добролюбова его отец, которого он страстно и стыдливо обожал, а не только любил; потом я увидел, что преклонение перед отцом было во всей семье — у матери, у трех братьев и четырех сестер. Он тогда только что умер, надорвавшись на чиновничьей работе, к которой он относился идеалистически, потому что это было "крестьянское дело". Я его не знал, я сужу по рассказам, и мне кажется, что это был характер той части восьмидесятников, которые не хотели "отказываться от наследства 60-х годов", но, поступив на государственную службу, идеалистически отдались ей, — я встречал тогда таких, очень многих. Влияние отца на Добролюбова было в духе 60-х годов, не революционных, но умеренно прогрессивных, вроде "Вестника Европы", журнала, который у них выписывался и который Добролюбов тогда читал. Я никогда не спрашивал Добролюбова об его отце. Он мне сам много говорил, и я понял, какое отец имел влияние. Когда же отец умер, он почувствовал себя потерянным; он не мог пережить этой смерти, как вообще истинная любовь никогда не может пережить смерти и обманывает себя. Он остался беспомощен с зародышами того влияния, которое принадлежало его отцу и которое в современности для своего осуществления — в таком целомудренном и напряженном состоянии, каким было сознание Добролюбова, — должно было найти какие-нибудь современные пути. Ни с чем, открывающим подобные пути, он не встретился; он столкнулся со мной — и стал эстетом. Но замечательно, что не только он, но и я по своему существу не были прирожденными эстетам: мне это было внушено домашним воспитанием; он подчинился мне, тем более что при его необыкновенной одаренности, при его чувстве искусства, в особенности живописи, — гораздо более сильном, кажется, чем поэзии, — стоило только дотронуться до этих его свойств, как они уже зазвучали сами. И к этому присоединялось то, что я уже назвал его целомудрием и напряженностью душевной или — еще яснее — его органичностью.

Чем искупил эстетизм его, воспитанного на идеях общественно-освободительных? Именно идеями *освободительности*, но того психологического освобождения, разрешения себя от всяких уз идеальности, морали, которые для свободолюбивого личного сознания представляются навязанными извне, внушёнными и потому догматически связывающими волю, желающую быть абсолютно свободной от всего, от всяких "идеалов", прежде всего морали вообще, затем — от всякой общественности. "Все дозволено" для свободных желаний. Эта "вседозволенность" казалась нам истинной эмансипацией, в сравнении с которой нигилизм 60-х годов был наивным, внешним, умеренным. Поэтому если у Добролюбова и бывали в то время политические сочувствия, то к проявлениям анархии; об этом мы иногда говорили, когда случалось что-нибудь в тогдашней Франции, но вообще оставались равнодушны.

Отозвавшись на эстетизм, Добролюбов ему отдался вполне, безраздельно, преклонившись перед искусством, как перед кумиром, — надолго, до религиозного переворота в себе, — как перед абсолютно свободным проявлением ничем не связанной, утверждающей себя личности, стремящейся к пределам и за пределы познаваемого, данного. И так как, когда явилось декадентство, Добролюбов понял его как крайнюю границу эстетизма и эмансипации, то и стал исповедником декадентства уже без всякой критики как высшей догмы своего верования. А я, несмотря на свой более исконный эстетизм, упрямо не хотел сначала принимать ни новой эмансипации (к этому я и толкал Добролюбова, проникнутый Достоевским и его именно соблазнами "вседозволенности" против "узости" 60-х годов), ни новой эстетики. Добролюбов же, раз повернув к эстетизму, отдавался теперь ей как границе эстетической эмансипации — подчиняясь французам и оставаясь верным себе: *не ограничивать* искусство познаваемым, явным для сознания, определенным, но *дозволить непознаваемому*, непостижимому в своей сущности *быть выраженным* непосредственно, без промежуточной среды мышления, внезапно, сразу. "Мысль изреченная есть ложь"... Это и была собственно декадентская эстетика: говорить о *непонятном непонятно*. Я сопротивлялся ей недолго, проникнутый не только Достоевским, но и Фетом.

Так, не зная еще о Ницше ничего, кроме пустого имени, мы очень скоро стали вместе исповедовать и на самом деле чуть ли не на улицах провозглашать музыку как предел поэзии, как идеал всякого искусства. Так Добролюбов шел во всем до конца. Любя инстинктивно не музыку, а поэзию и живопись, он, коснувшись декадентства, дошел до самого его дна и дотронулся до него, потому что декадентство — как психологическая доктрина — есть идеализация непосредственно личного восприятия мира, как доктрина художественная — культ самого интуитивного, самого внезапного из искусств — музыки. Знаменитую формулу Верлена о музыке превыше всего, мы, конечно, поняли слишком хорошо, когда узнали о ней тоже после.

Для нас ожила новой жизнью, прежде всего, русская литература, не в том смысле, чтобы мы стали искать повсюду символизм, как это делал Мережковский, но во имя острого сознания "художественности", как всегда говорил Добролюбов, будь это Пушкин, Фет, Некрасов, сам Решетников. Русских поэтов мы перечли и переоценили всех, откидывая самых неизвестных. Перед Пушкиным мы неизменно благоговели, к Лермонтову были холоднее, Тютчевым и Фетом зачитывались, Баратынского возвеличивали, Некрасова реабилитировали; среди современников искали близких, выуживали во всех журналах Мережковского и Минского; их стихи больше ценил Добролюбов, я "открывал" Случевского и заучивал Фофанова. Когда вышли книжка Бальмонта ("Под северным небом") и первый выпуск "Русских символистов", мы решили, что мы — не одни, и согласились ехать в Москву к Брюсову — познакомиться и примкнуть к нему. Летом я со всей семьей жил случайно под Москвой, на даче, и Добролюбов приехал ко мне на несколько недель. Мы познакомились с Брюсовым (студентом 2-го курса), но литературно разошлись с ним, отчасти из-за мальчишества с нашей стороны, но, может быть, и из-за того, что декадентские требования Добролюбова к поэзии показались Брюсову чрезмерными, сама его поэзия — мало связанной с жизнью, на чем Брюсов настаивал уже тогда.

В Петербурге с осени кончился тот "зеркальный март", каким представлялись мне моя близость с Добролюбовым и наши общие настроения до этих пор: настали дни, вспоминающиеся, как мутные, нудно петербургские — один сплошной "октябрь—ноябрь", день за днем, как один день. Беспечный эстетизм, и раньше внутренне элегический, сменился той тоской, которая легла в глубине декадентского эстетизма, которая весь мир называла только символом, и самый мир, глухо запертый в трех измерениях, отвергала в его подлинности. Начался душевный мрак, и это омрачение, которое все темнее сходило на нас, разделяло нас, как густой туман, понемногу все дальше, потому что оно несло с собой и скуку личного одиночества — следствие нашей декадентской субъективности. Верования не было, была личность, воспринимающая мир для себя, для своих ощущений, слушающая музыку вещей, чтобы услышать и чтобы извлечь из самой себя отвечающую ей музыку. Весь мир только безразличие ко всему личным переживаниям; безразличие ко всему естественному окружающему — до отвращения, если это все не "поэт", безразличие ко всему общественному, потому что оно по существу не певуче, и наконец, — привычка к такому безразличию, культ его — мистический нигилизм не в том смысле, как это думали видеть у Л. Толстого, но истинный атеизм в тоске по верованиям и в невозможности преодолеть "границы". И ко всему этому "томлению духа" еще та смуть влюбленных отношений, которая тяготеет над всяким юношеским сознанием, и чем оно глубже, тем безвыходнее, а для нашей тоски тем противоречивее.

Мы расходились. Добролюбов все безраздельнее служил своему эстетическому атеизму, все отрицал, ни во что не верил, догматически отвергая всякую мораль, пока еще только в мечте, а потом очень скоро и в

жизни, — я, с тем же атеизмом, не мог остаться в эстетике и искал Бога. Я был проникнут Достоевским и отдавался влиянию Ницше. Добролюбов совершенно не интересовался Достоевским ("Я подарил его своему швейцару!" — говорил он, позируя), оставался холоден к Ницше, все более отдаваясь, вслед за Бодлером, Верлену, Малларме, вслед за Эдгаром По — Блоку, Россетти. Добролюбов был декадент без упрека, беззаветный, я, скорее, символист, потому что символизм — это уже измена декадентству, это уж соприкосновение одним концом с религией, с верованиями; символизму есть выход и к жизни, и к природе, и к общественности. Декадентство — крайнее самоутверждение личности, угрюмо эстетическое, совершенно замкнутое. Это предел всякого самообособления, это логический и психологический вывод из материализма, а не реакция против него, поэтому символизм мистичен, а декадентство сенсуалистично. Это пассивный бунт против всякого идеализма, пассивный — потому что деятельность была бы идеализмом; догматический — потому что критика была бы действием во имя чего-нибудь. Есть личность, видящая сон-жизнь. Добролюбов не читал Шопенгауэра, но он всегда любил буддизм и любил повторять сонет Минского:

Вся жизнь моя — великий, смутный сон,  
Нет для меня вещей и мест заветных,  
Не помню форм, ни чисел, ни имен  
И не считаю трупов безответных...

.....  
Но я люблю, как дервиш, в забытии,  
Под шум лесов иль моря гул священный  
Внимать душой часов полет забвенный.

Мне сладко смерть при жизни обрести,  
И чуждый мир, и дух свой бесприютный  
Слить в сон один, — великий сон и смутный.

А восточные яды, которые он стал принимать в эти дни, вызывали в его мозгу сновидения, которые заменяли убогий сон действительности. Если бы это была игра, литературное подражание, мальчишество, если бы Добролюбов, как многие, "разговаривал" бы на тему об "этом скучном свете", тогда он не погубил бы свое дарование, какие бы формы оно ни приняло, но и не стал бы народным проповедником, каким он стал. Но Добролюбов почти никогда не разговаривал на отвлеченные темы, и, принимая яды, он приносил жестокую жертву своей правде, в которую он тогда верил, — самого себя, беззаветно, воистину безумно. И когда он дошел до предела человеческого безумия, он круто повернул на дорогу правды Божьей.

Так проходила зима — как один длительный октябрь — ноябрь, — когда Добролюбов читал Эдгара По и Бодлера, Ибсена и Метерлинка, потом Оскара Уайльда, "тосковал в трех измерениях" (это его слова) и безжалостно

вводил в свою кровь яды, иллюзорно преодолевая в их лукавых испарениях трехмерную действительность. Действительность, после того как она ненадолго отлетала от сознания, возвращалась, конечно, тем ужаснее — по противоположности, именно — тем "трехмернее". А Добролюбов служил и здесь до конца. Его смуглое, вовсе не худощавое лицо стало вытянутым и желтым, от него всегда пахло удушливым, землистым запахом опия, как из могилы. Его комната была так продушена этим запахом, что я, просидев в ней полчаса, засыпал на диване. Он был пьян этим ядом каждый день, целый год и еще один, следующий; гашиш он принимал реже. Опий он и ел, и курил — и не скрывал этого. Он становился все угрюмее с каждым днем, с каждым месяцем, и с этого времени его стихи стали характерными, и с этой минуты он — как он сам думал — "нашел себя". И это верно. Но, с другой стороны, его талант очень скоро стал падать, то есть просто не развивался; так же скоро умер, как родился.

Был ли у него настоящий талант?

Его ранние стихи, которые он писал мне в первые дни нашего сближения, были смутны, нестройны и несильны, но они не были подражательны. Он всегда искал свои звуки и бессильно не находил. Но иногда вдруг и среди этих ранних стихов звучала поэзия — живая, ясная, именно живая, словно "неведомый и девственный родник", о котором говорил Лермонтов; стихи были вовсе не декадентские и кого-то мимовольно напоминающие. Я помню несколько строк из одного стихотворения; я выучил его наизусть, но некоторые забыл:

...Конечно, малютка, весной золотою  
Луга убираются пышной травой,  
Черемуха в легкой одежде цветов  
Рассыпает свой запах средь ближних кустов, —  
Задышит все близким и радостным летом.  
На родину с южным весенним приветом  
Воротятся пташки, и снова они  
Начнут свои долгие песни. Отцы  
Их первая займут твои нежные взгляды...  
И, полная детской, небесной отрады,  
Ты будешь беспечно играть средь полей,  
Внимательным взором мохнатых шмелей  
И бабочек в воздухе светлом и жарком  
Следить, в ручейке золотистом и ярком  
Купать свои ножки и с милой сестрой  
Бежать вперегонку под вечер домой.

Такие простые и милые образы и зрительные по природе своей были свойственны Добролюбову до декадентства. Я уже сказал, что, когда он стал декадентом, он поверил в музыку, как в предел эстетического, и стал напрягать свой стих, все свое звуковое воображение до музыки. И здесь была та трагедия, которая осталась бы для таланта Добролюбова, если бы он и не соблазнился никакими физическими ядами. Тяготение к музыке

обессиливало его литературные способности, так как дара пения — вообще одного из редчайших и величайших даров, даруемых поэту, — у Добролюбова не было. Он считал пределом поэзии певучесть, он стремился к ней всем напряжением своих способностей и не мог не чувствовать — я думаю, и сознавать — своего бессилия. Это — трагедия одного ли Добролюбова? Не характерна ли она для всего декадентства, как вообще Добролюбов не характерен ли для всего этого движения? Каково бы ни было отношение к декадентству, оно ставило своим идеалом музыку и могло победить только приближением к нему. Внутреннее безумие, о котором говорило декадентство как о стихии душевной и мировой, есть бездонная стихия самой музыки. В бессильном приближении к этой стихии, в томлении коснуться ее, Добролюбов и не стал поэтом.

А яды разрушили еще и без того горевший этим томлением по музыке мозг. Это томление по музыке было у Добролюбова тем более ощутительно, что он искал ее не вне себя, но, как подлинный декадент, в себе самом, хотел породить ее из самого себя, оставался целен, не изменял своей тогдашней правде — эстетическому преклонению перед самим собой. Значит он "не играл в декадентство", а горел и сжигал себя, притом не с одного конца. И поэтому стихи его были искренни и талантливы, но бессильны. Он издал свои сочинения в конце той зимы в сборнике "*Natura naturans, natura naturata*" (название, заимствованное из Спинозы и невыразительное для книги) с самыми простодушными и вызывающими посвящениями и заглавиями, с многоточиями и многими пустыми страницами, всего 18 стихотворений, не длиннее 24 строк каждое, и 10 прозаических отрывков, такого же размера, с декоративной обложкой старика Микешина (очень его любившего). В публике обратили внимание на позы — и засмеяли.

Добролюбов не только в отношении к своей книжке способен был на такой вздор: одевался в необычный костюм (вроде гусарского, но черный, с шелковым белым кашне вместо воротника и галстука); говорил намеренную чепуху, садился посреди комнаты на пол. И, судя по этому вздору, говорили, что все, что он делает, одно кривлянье — "какое же здесь внутреннее мученичество?"... Так судили когда-то и о Лермонтове, и о многих других. Надо ли объяснять, что он был живой человек — еще мальчик, — и чем противоречивее, тем живее. В нем было много задора и остроумия. Внутри томился, а снаружи кривлялся, принимая позы нарочно, напоказ. Он много смеялся и любил смешное, хотя смех его чаще всего бывал истерический — "визжал", как его дразнили.

С таким-то томленьем внутри и позами снаружи, со своими новыми стихами Добролюбов бывал в этот год повсюду, и я с ним неразлучно: мы исповедовали стихи друг другу, считая их единым достижением этого одного.

Мы пришли в редакцию "Северного вестника" и стали бывать у Волынского по воскресеньям, где встретились с Минским, который нас привел к Мережковским, с Сологубом, только что появившимся, который нас позвал к себе; мы самостоятельно поехали к З. А. Венгеровой, зная ее по ее



статьям о западных символистах в "Вестнике Европы"; у нее познакомились с ее братом С. А.; мы искали, по старому адресу, Фофанова целый вечер и не нашли, исходив всю Петербургскую сторону.

Волынский наши стихи ни за что не хотел печатать, но мы у него по воскресеньям перед самыми различными литераторами проповедовали нашу веру и читали свои стихи. Потом я стал бывать часто у Мережковских, Добролюбов — у Минского: они нас, как тогда говорили, поделили, и оба вместе очень часто у Сологуба, тогда почти такого же презираемого, как и мы.

Так прошел этот год. Мы кончили свою Шестую гимназию и поступили в университет — оба на историко-филологический факультет; но внутренне мы все больше расходились, хотя весь год постоянно бывали друг у друга. Третий с нами, сближая нас — любя нас обоих, — был один из самых чутких тогда, не писатель, но с исключительной нежностью к поэзии, сам музыкант, с которым Добролюбов много говорил о музыке — через несколько лет после этого сгоревший от самого неутолимого внутреннего горения в лечебнице для душевнобольных, Я. И. Эрлих. Он нас соединял своей любовью, когда мы уже расходились и, может быть, задерживал разрыв.

Отчасти под влиянием Мережковских, отчасти вечно неудовлетворенный собой, я не издал сборника своих сочинений. Добролюбов, может быть, переживал это как измену, хотя молчал (были, конечно, и другие причины, о которых здесь говорить неуместно).

К концу зимы наши отношения стали очень холодны, в начале следующей зимы мы разошлись совсем, потом опять сошлись, через год, но натянутость осталась навсегда.

Что делал Добролюбов в университете? Это был последний год, когда я его еще близко знал. Мы оба совсем не занимались в этот год университетом: мы его открыто презирали, как раньше гимназию, как вообще все окружающее, как все, что было наше, к науке склонны были относиться как к "пошлости". Добролюбов совсем не ходил на лекции, как будто и не был студентом, и никогда не говорил ни о чем студенческом. Когда настала весна, он отложил все зачетные экзамены до следующей весны.

Росло ли его томление? Остановилось ли? К чему он шел?

Росло, и основой его томления все сильнее становилось *чувство смерти*. И в этом мы продолжали оставаться близки и все еще держались друг друга. Жажда реальности, стремление ощутить действительность при условии, что этот окружающий нас позитивный мир отвергается, как действительный, приводят постоянно или даже неизбежно к культу смерти не как к идеализации небытия, но как к идеализации того, "чего нет на свете", "того, что есть, но не бывает", как переводили немцы Платона, сущности несомненной, но иной, и в качестве иной — не ощущаемой, а только предчувствуемой или, может быть, только чаемой. Но эта идеализация неизбежна, живущий человек самим фактом своего существования утверждает какую-нибудь реальность, и если он отвергает сознанием

эмпирическую, он признает, хотя бы и бессознательно для себя, какую бы то ни было мистическую; и если он при этом ум крайний в своем отрицании всего эмпирического, тогда фатально является культ смерти. Таким умом был Добролюбов, и он культивировал ее, инстинктивно боясь ее, культивировал "в исступлении". Этим исступленным культом смерти была проникнута его юношеская жизнь, когда он отравлял себя ядами; с этого культа он начал "свои" стихи; этим исступлением было проникнуто все, что он писал в эту третью зиму, и то, что он делал, когда на самом деле становился повинен не только в собственном медленном самоубийстве, то и в самоубийстве других, которых он склонял и склонил к этому.

Основным мотивом первого сборника его стихов было ощущение смерти и признание ее "закона"; лучшие из них те, в которых глубже это дыхание смерти; и из моих стихов он больше всех любил те, где выражалась жалость к умершей девушке; и потому-то из всех поэтов больше всего любил он Эдгара По и из Метерлинка — "Смерть Тентажиля". Первым сравнившим его сознание впечатлением была смерть отца, которой и посвящено первое стихотворение в его сборнике.

Чувство смерти передано в нем отчетливее всего в этих трех строках:

Вижу — в могилу проводящий взор проникает,  
Вижу — таинственно греют подземные корни,  
Черви впиваются в мертвое, жесткое тело.

Отсюда — и культ смерти, теперь уже "ожиданный", если вспомнить об "исступленности".

Царь! Просветленный, я снова склоняюсь перед гробом...

— слова, которыми начинается и кончается стихотворение, обращенное к первой, богомольной и отнятой у него в детстве любви

Самым своеобразным поэтическим достижением в сборнике был "похоронный марш" (вызванный смертью бабушки); первые и последние строки его все тогда повторяли, кто сочувственно, кто насмешливо. Он написан в народном стиле, которым Добролюбов был всегда увлечен, зная Рыбникова едва не наизусть, — единственная, пока еще отвлеченная связь с народом, смутное начало народничества, овладевшего им после перелома:

Просыпайтесь, просыпайтесь, безумные!  
Выходите на стогны вечерние.  
Застойтесь на княженицкой площади.  
Приглядитесь к вечернему небу:  
Зеленеет ли зорька утренняя?  
Улыбнулось ли солнце восточное?  
.....  
Обойми ты меня, Новоладожанка!  
Твои руки, словно травы, свиваются;  
Поцелуй твои, Новоладожанка,

Дышат влагою серебряною.

Все стихотворение — крик исступления к смерти, особенно в середине:

Ой, зачните песни великие,  
Великие песни о Севере!  
Пойте, славьте Ночную Охоту...

Символом добролюбовских стихов было *Lex mortis*<sup>1</sup>, казавшееся тогда откровением новой поэзии, такое же нежное и стихотворно-робкое, как все, что он писал, по существу — также молитва к смерти:

Меркните вы, впечатленья веселья и скорби!  
Чутко внимай! в глубине вырастает, как дрема,  
Шепот ночной... и плывет...  
Ты забылся: ты дома.  
Шепот растет и растет.  
Нет! уходи, молодая!.. улыбка, погасни!  
Кто-то лукаво подкрался, нагнулся над нами...  
Слышишь? он здесь... он стоит...  
Словно кто-то руками  
Обнял тебя и молчит.  
Молоды, Смерть, Твои дерзкие женские руки.  
Ближе к безумцу! пусть холоден гроб и священен!  
Призрак пройдет пред Тобой —  
Молчалив, неизменен —  
Медленно гордой стеной.

Основным смыслом всех сочинений Добролюбова, которые напечатаны и не напечатаны, является это боренье с "законом смерти". Вот первые строки второй книги, изданной уже после его "ухода":

*"Я предвижу, о отдаленнейший из потомков моих, какая огненная и до необычайности и непредвидимости чужая струя зашипит по развертывающимся жилам твоим, в каком вечном стремлении перехода живет душа твоя. Но не гордись и через многие равнодушные годы вспомни, что я так подробно предвидел тебя и тех же лучей лепетаньем гордился. Весом и блаженством мы будем не равны, но в тебе есть кровь моя, в тебе смерть моя! ибо ты возвышаешься на обломках моих..."*

Последнее стихотворение, которое он мне читал весной перед своим бегством из цивилизации, помещенное и издателями последним в сборнике, кончается словами того же опьянения смертью:

О горы, нагой возвращаюсь в великую землю,  
И смертью навеки предутренний взор опьянен,  
Безумец, встречаю светила ликующим кликом,  
А небо дарует мне сердце пророка.

И в последней книге, писанной уже в годы странничества, когда он хотел считать себя, свои "взоры" просветленными, он говорит о видимой победе над смертью в ощущении огненной сущности вселенской жизни.

Все, что Добролюбов писал после изданного им самим сборника в последнюю зиму своей декадентской веры, потеряно безвозвратно: он выронил целую большую тетрадь случайно, на мостовой, садясь в конку, — как он рассказывал — может быть, пьяный от какой-нибудь из своих отрав, и заметил слишком поздно. Это произвело на него впечатление какого-то предвестия — он очень дорожил сам этой тетрадкой — и, наверное, тяжело пережил свою потерю, хотя и скрывал. Я смутно помню только отдельные вещи из этой тетради, может быть, помнит еще кое-кто; да еще осталась от этого года легенда о нем как о совратителе, подговаривавшем отравляться и умирать, жившем в черной комнате, демоне, сатанисте, Дориане Грее. Его черная комната, то есть оклеенная черными обоями, с потолком, выкрашенным по его желанию в темно-серый цвет, с оставленными белыми полосами по краям, узкая, в одно окно, похожая на гроб, была все-таки очень невинной шалостью, которую мы, смеясь, вместе придумали; демоном он не был, но, идя вообще во всем до конца и дойдя до конца в своем эстетическом атеизме, то есть до культа смерти, он проповедовал его и не боялся склонять к ней. Это был грех, но грех не просто его юношеского своеволия, — грех, вытекший из его веры.

Сам он в стихотворении, писанном накануне "ухода" — возвращения к земле, чтобы вернуться к Богу, — помянул этот свой грех еще гордыми словами:

Кто судит порок, опровергнутый вечною целью?

Добролюбов осудил себя сам, и покаяние его было тем страшнее, чем буйнее раньше была его гордость, — истинный бунт против нее, такой же предельный, как прежнее декадентское самообольщение, искусственно противопоставленное "закону смерти".

Потеря тетрадки была предвестием, концом старого. Сочинения, потерянные в ней, говорили о падении литературного таланта в 22 года. Отравление крови ядами вызвало в те же дни злую экзему; врач указал на это. Добролюбов уверял меня, что он оставил свои яды, но стал алкоголиком. Я не знаю, правда ли это: следующую зиму я с ним не виделся. Он жил этот год одиноко, хотя еще в семье; весной он сдал все экзамены и перешел на третий курс. Потом мне говорили, что в этом году он начал носить вериги. Мы не встречались с ним до следующей зимы, когда он прислал письмо примирения. Мы стали опять видаться, но мы уже были очень далеки, и оба это горько чувствовали. Это была последняя зима перед его уходом. В поэзии — это та его книга, которая издана "Скорпионом", со статьями Брюсова и Коневского, третья по счету, беспомощная литературно, внутренне сильнее и первой и второй (потерянной). Несмотря на то что мы уже не были близки, я знал, я видел, я не мог не видеть, что Добролюбов на каком-то краю. Он

уехал из семьи и жил в меблированной комнате на Васильевском острове, ходил в университет, занимался египетской архитектурой и греческой философией, но в нем прежний Добролюбов выродился, замер, — он производил такое впечатление, как будто он всегда внутренне плачет и принуждает себя, скрывает тайну. Я потом вспомнил, перечитывая:

Прощайте, друзья и богини былого,  
Бесстрастно, как яд, я давно *приготовил измену!*..

В этом году он уже не принимал никаких поз, почти никогда не смеялся, или принужденно; костюм его был студенческий сюртук, который он носил странно прямо; потом, вспоминая, я вспомнил о веригах... В эту зиму, на святках, он пошел на лыжах куда-то в Финляндию, простудился и был болен, и эти лыжи мне тогда казались истерикой. Он приходил ко мне часто в таком состоянии, что казался именно пьяным от вина (от вина он в это время никогда не отказывался — но не отказывался и прежде). Мне казалось, еще иногда, что он мало питался, как будто страдал от голода. Весной он уехал в Олонецкую губернию, сказал, что он хочет пожить в деревне, в избе. Осенью он вернулся уж странником, теперь уж он переродился!

Возвратившись с дачи, я узнал от матери, что у нас был Добролюбов в простой мужицкой одежде и говорил, что он ходил пешком в Москву, к Троице, был у Иоанна Кронштадтского и теперь идет в Соловецкий монастырь послушником. Он оставил свой адрес — на Охте. Я поехал к нему. Я отыскал его в деревянном доме, очень грязном, во втором этаже, в мещанской комнатке в одно окно сбоку. У окна стол и стул, на полу у стены тюфяк; на нем сидел Добролюбов, мрачный до того, что казался безумным. Он почти все время молился, и вслух, громко, и шепотом, и про себя. Когда я его спросил, с кем он говорит, — он сказал: "с силами"... На мои расспросы, как все случилось? — он мне рассказал коротко и страшно волнуясь, что его "научили чайки"; когда он был на охоте и стал целиться, они низко пронеслись над его головой и кричали жалобы, и он понял, что он был всю жизнь жесток. Потом он все повторял, что он "нечистый сосуд" и что он должен очиститься. И из всего, что он мне еще говорил, я понимал, что он кается в своих жестокостях, которые он творил; что *вера*, может быть, еще не пришла или еще сильнее выросла прежняя тоска по вере, которая в нем всегда была, но что поднялось и покаяние, как в сердце безгранично нежном и добром, каким было всегда его сердце — сердце обожаемого им его отца! — и оно больше не принимало всей его недолгой, но не безгрешной жизни. Оно извратилось, иступилось в растленной цивилизации, и для Добролюбова, шедшего во всем до пределов и за пределы не из сладострастия, но из внутренней честности, — до мученичества, вовсе не сладкого, — был один путь, такой же безудержный, прямо противоположный, и он ушел от цивилизации, которой он служил в ее безумнейших утонченностях, он ушел от самообожания к народу. И если раньше он был жесток, изощряясь, теперь

он каялся в одном сплошном исступлении. Таким сплошным исступленным покаянием показались мне и его хождение пешком из Петербурга в Москву, к Троице, и бегство к Иоанну Кронштадтскому, и уход на Соловки, — одним непрерывающимся покаянием вся его последующая жизнь, до последней минуты, все его проповедничество и влияние на народ. Действие, больше лично нравственное, чем метафизическое, — он об этом больше всего и говорит в своей книге, и это в ней живое и *его*, напоминающее его детские годы и ранние стихи, а метафизика не *своя* и, мне кажется, холодная. Я его спросил тогда еще: пришел ли он к христианству? Он ответил, что "Евангелие — вечная истина", и приводил много текстов, когда рассказывал о себе; но, когда я его спросил: а как же искусство, перед которым он так преклонялся, как он от него уходит? — он и на это ответил: "искусство — вечная истина!" — и сразу умолк. А когда я его спросил: "А смерть?" — он сказал: "Вы так же несчастны..." Он хотел сказать: "как все, потому что все боятся смерти". Но мне показалось, что мы поняли до конца друг друга.

Через несколько дней он уехал, и я помог ему это сделать, обманув в последнюю минуту его мать, которая, конечно, не хотела отпускать его. Потом мы встречались, сначала когда он ненадолго возвращался, потом из монастыря, потом из своих странствий, когда он годами и перед приходившими к нему целыми часами сидел молчаливым. С ним было тяжело, — я не верил в его конечное просветление. Проходили годы. Я виделся с ним не раз. Он становился все светлее и все больше говорил об этом, как будто убеждал не столько меня, сколько себя... И мне так хотелось, чтобы это было так!

Потом я с ним не встречался, но то, что я слышал через печать, когда сообщалось об очень мрачном характере его новой "веры", я все думал, что я был прав, что весь его уход — это не найденная общая истина, просветляющая до дна, но великое покаяние, мука совести безмерно человеческого сердца, выросшая из переполнившей через край тоски по правде Божьей.

Его лицо из юношески красивого — обросшее бородой, с открывшимися еще шире большими, темными и прозрачными глазами, с правильными чертами, сделавшимися еще правильнее, — стало, действительно, подобно "лику", как говорили о нем, но в то же время как стало оно похоже на лицо его отца! В его общем выражении появился покой не сознания, но той ясной *воли*, которой Добролюбову дано было достигнуть. Стихия отцовского влияния, стихия 60-х годов, глубочайший нравственный идеал, свойственный существу его и который он вывернул в эстетизм, вернулся к нему и победил. Декадент стал религиозным сектантом, ушел в народ проповедником Божьим.

Изданная при его согласии, несмотря на произнесенное им отречение от литературы, последняя книга его стихов и прозы "Из книги Невидимой", отразившая его странничество, так же, как и его прежние, декадентские, литературно все так же талантлива, но бледна и беспомощна. Он не нашел в себе сил на игру, и, если подымающую литературу до музыки, до действия,

близкого по могуществу к религиозному пафосу, он открыл в себе силы на истинное действие, великое, потому что внутренне неизбежное, в сущности, в процессе любви. И если бы он вернулся назад, откуда он ушел (я не знаю, как могло бы это случиться, но если бы это вдруг случилось!), я не ужаснулся бы этого, как падения, и я бы не назвал игрой ни это обратное возвращение, ни все предшествующее, ни все, что было, — я знаю, что все, что могло бы быть, было бы вследствие внутреннего мученичества, что и это не было бы игрой, а правдой, как вся его жизнь.

Но, оставшись без него давно один, думая о нем издалека, я думаю всегда только об одном: нашел ли он истинную свободу? освободился ли он от страха смерти? разрешил ли он наконец уже *здесь* свою душу?